

K

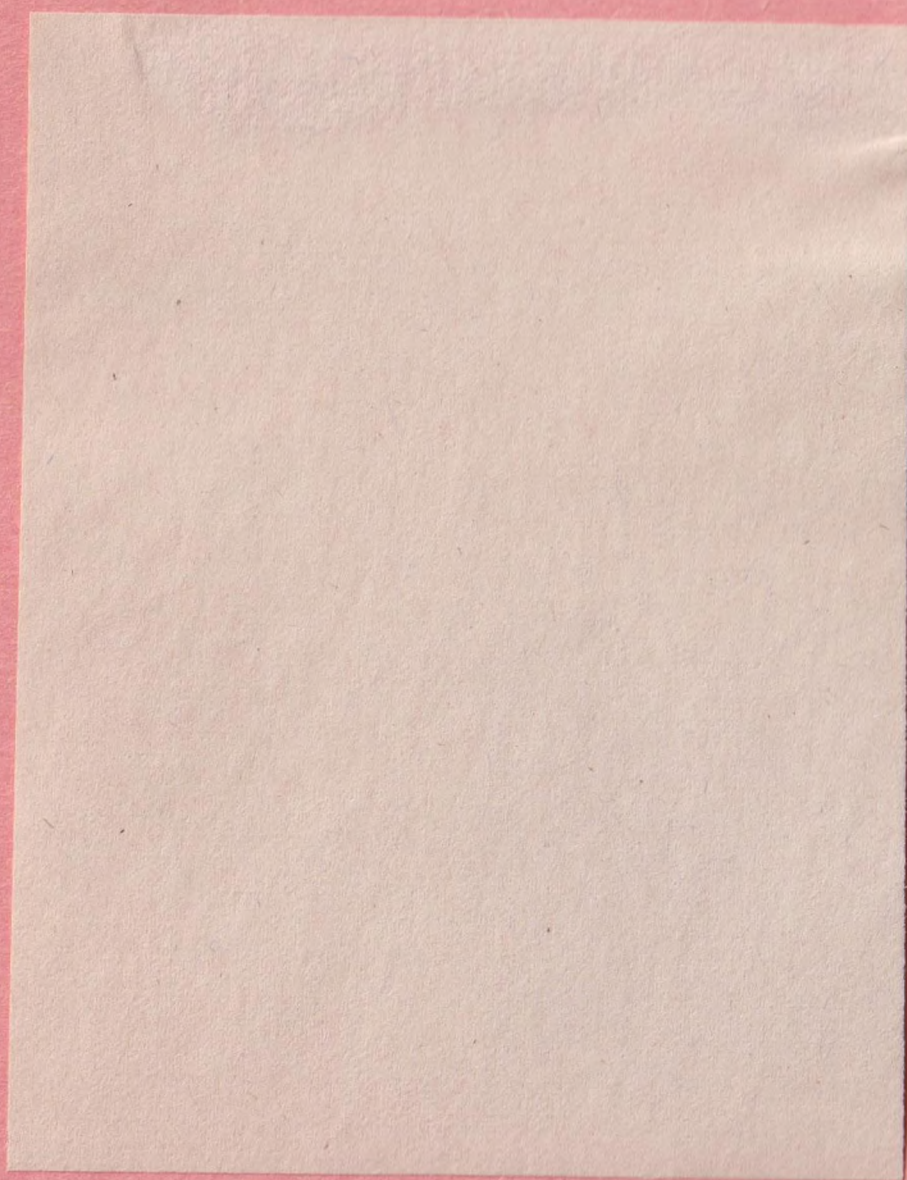
63.3 (2Рос-4Пор)

Б43

Николай Белдыцкий

# Старая Пермь







Николай Белдыцкий

# Старая Пермь

бр.



Архангельск  
Губернская типография

1913

МБУ "Межпоселенческая  
центральная библиотека  
Очерского муниципального  
района"





...«Еще рабы страстей,  
Все-ж лучше мы отцов, а также  
наши внуки  
Достойней будут нас названия  
людей».

Из стихотворения Якубовича.

Как хороша будет жизнь лет  
через двести!  
Из Чехова.

## I. Город и река

— Эко баско! Ай, да, Перма-матушка! Вот так городок!  
Гли, церквей то што, домов (белых...

— Супротив Перми да Елабуги уж не будет таких городов

— Это, бают, губерня, потому, бают, все набольшие живут, страшные такие... Всем городам правят и Чусова тоже на Перму молится...

С такой восторженной почтительностью приветствовали бурлаки раскинувшийся перед их глазами губернский город. Наивные дети лесов, Пила и Сысойка, были подавлены великолепием развернувшейся перед ними картины и с палубы своей барки смотрели, словно очарованные. Робко поднялись они вместе с другими бурлаками в гору, робко пошли по середине дороги, боясь испачкать «пол», как в простоте души своей называли они тротуары. Город поразил, подавил их. Они глубоко сомневались, что на свете могут существовать еще более великолепные города, и с недоверием слушали рассказы других бурлаков, которые утверждали:

— Вот Нижний есть город — огромаднейший! А этот, супротив Нижнего — пигалича!



Послушаем же теперь, одного из самых правдивейших и точнейших бытописателей и посмотрим, что представляла из себя на самом деле Пермь в 50-ые и 60-ые годы минувшего столетия.

«По правде сказать, — пишет Решетников в «Подлиповцах», — город этот неказист, жители бедные, хорошие дома построены большей частью на одной Сибирской улице».

Топографические описания Перми Решетниковым щедро разбросаны, как в больших, так и мелких его произведениях, причем, Пермь часто именуется одной заглавной буквой П., или городом Орехом, а Кама рекой «Дугой». Бытописатель дал нам картину не только города, но и его «Слободок».

Неказистая получилась картина!

Чтобы реставрировать ее, надо мысленно перенестись в то не слишком отдаленное от нас время, когда не было еще железной дороги, ни устроенных берегов, ни садов, ни мостовых, ни электрического освещения. Пермь утопала в грязи и своим видом ничем не отличалась от захудалых провинциальных городов... «Город Пермь, — характеризует ее Решетников в рассказе «Белуга», — ничем не знаменит, ничего не произвел: ни худого, ни хорошего. Нельзя сказать, чтобы люди в нем благоденствовали, а живут, как говорится, ни шатко, ни валко, ни в сторону». Движения на улицах Перми было очень мало, и обычно город казался как бы вымершим. Только весной с приходом чусовских пароходов он оживлялся от появления множества бурлаков. Только тогда на улицах можно наблюдать толпы народа; в некоторых местах бурлаки кучками сидели на тротуарах или прямо на траве около деревянных заплотов, где дружно выпивали и закусывали; по улицам они бродили группами: «одни несут лапти, другие коты, третий прет пять ковриг хлеба на спине, обвязав их веревкой; двое тащут на балке брюшину, осердие, старую почти засохшую говядину. Попадаются пьяные». Но особенно оживлялся грязный в дождь и пыльный в жару Черный рынок, на котором над всеми ароматами доминировал запах знаменитых печорских сигов. Харчевни и питейные лавочки были полны бурлаков, которые, наугощавшись, разгуливали по улицам губернского города и горланили песни.

Но кончался сплав и Пермь вновь принимала свой спящий и как бы вымерший вид. Снова сонная одурь водружалась на пустынных улицах.

Если такой безотрадный вид имел самый город, то еще более жалкими являлись его «слободки»: Солдатская, Слудка и Подгорная, на берегу Камы, под женским монастырем. Вот, напр., как описывает Решетников последнюю в рассказе



«Шилохвостов»: «дома и избышки здесь были до того стары, что многие из них подпирались бревнами. Домохозяевами были рыбаки и харчевницы, а жили у них круглый год бедные писцы, мещане... Весною домишки заливались водой».

Общеизвестных развлечений Пермь того времени почти не знала, если не считать бульвара, где и тогда уже начинала играть музыка, причем музыкантами являлись гарнизонные солдаты. «Но публики, — говорит Решетников в повести «Между людьми», — собиралось мало, да и то около ротонды, где играли солдаты. Другой музыки в нашем городе не было. Позднее явился плохонький оркестр, но этот оркестр играл только в благородном собрании для аристократии». Эти аристократические балы сильно занимали простых пермяков, которые целыми толпами осаждали окна собрания, где привилегированные классы отплясывали под звуки дрянного оркестра. Молодежь из простого народа старалась перенять эти танцы и отплясывала их тут же под окнами собрания, пока полиция не разгоняла кулаками «подлый» народ.

Так как гулянье на бульваре не прививалось, то попробовали перенести его в другое место, и был выбран высокий берег Камы, с которого открывался обширный вид на окрестности. Там-то и возник знаменитый «Козий Загон», где два раза в неделю начала играть музыка, на которую обыватели, по словам бытописателя, «выползали из своих нор и, позевывая, тащились». Там была устроена загородка, или на местном жаргоне «Загон». Интересна история возникновения этого «Загона», иллюстрирующая нравы того времени. «Возник он, — повествует Решетников, — благодаря сообразительности единственного в этом городе генерал-губернатора. Пришел он на берег. Местность понравилась ему. Пошел в другой раз, третий. Город подивился, зачем это губернатор на берег ходит? Пошли пять человек и испугались губернатора. Приказал он сделать загородку и насадить деревьев. Город понял в чем дело и посмеялся над такой шуткой. Березки эти скоро обглодали козы, и народ стал ходить к реке, не чувствуя никакого удовольствия, а наблюдая за барями, как те ходят, какие на них наряды, не оступится ли кто-нибудь и т. п., а после гулянья чиновники рассказывают дома, как какой-нибудь невежа наступил на помело барышни, и как та обозвала его дураком. Теперь народ собирается для музыки, большинство смотрит на музыкантов, остальные ходят. Мелкие чиновники стеснялись быть в «Загоне», поотому что там гуляло парадное начальство. Чтобы привлечь еще больше народу, губернатор раз с вагатою передовых людей города изволил спуститься пешком с горы, прокатиться в лодке,



замочить по неловкости свои брюки и опять взбежать на гору. Такой штуки от него не ожидали, — подивились, и в другой раз народу собралось больше, но уже штуки не вышло, и губернатора в этот день не было. Просвещенные люди стали говорить, что теперь все городские сословия стали сливаться воедино».

Но все же гулянье в «Козьем Загоне» некоторое время получило право гражданства, и здесь возник даже кафе-ресторан, а потом один предприниматель открыл аллегри, имевшее в первое время большой успех у пермяков.

Несмотря на такой прогресс, Пермь мало ожила.

— Город наш, — говорит одно из действующих лиц в очерке «Глухие места», — несмотря на то, что стоит на бойком месте, нисколько не подвигается вперед. Если же что и печатают о просвещении в «Губ. Ведомостях», так это вздор, — только потешаются господа!

Ну уж и город! И живут в нем ровно не люди! — Так резюмировали свои наблюдения уезжающие из Перми солдаты, в эскизе «На палубе».

«Пермь, — поясняет автор, — они за то не любят, что там им показалось, что народ какой-то грубый, гордый; в ней они не видели никакой промышленности, никакого движения».

Оставим теперь город и посмотрим, что представляла из себя во времена Решетникова наша красавица Кама, на которой ныне кипит такая деятельность и которая является одной из главных жизненных артерий края.

Реска вполне соответствовала городу. Оживление на ней замечалось только во время прибытия чувовских караванов. Пароходство едва начиналось, и Пермь, при отсутствии железнодорожных путей, напоминала тот город, из которого, по выражению гоголевского героя, — хоть три года скачи — ни до какого государства не доскачешь! Путешествие на пароходах представляло мало привлекательного, так как обстановка и условия, при которых приходилось совершать путь, только утомляли невольных путешественников. Вот непосредственное описание удобств парохода «Искра», рейсирующего до Чердыни: «Это маленький пароход, в первом и втором классах поместится не больше 10 человек в каждом, и, как водится, второй класс хуже первого. Если в нем сядутся шесть человек, то седьмому пройти к столу довольно трудно. Шести человекам в нем спать нужно сидя. Первый класс немного просторнее. На палубе, кроме капитана, лоцмана и рабочих, может поместиться много-много, человек тридцать. Из Перми до Усожья берут за первый класс 5 р., за второй



4 р. и за палубу 2 р. 50 к. с человека. На палубе было с нами 20 человек пассажиров. В первом классе был один В. Так как г. В. в губернском городе имеет большое влияние, то из прочих пассажиров, ниже его по чину и общественному положению, никто не шел в первый класс. Во втором классе было пять человек мужчин и четыре дамы. Так как девяти человекам во втором классе сидеть невозможно, то все мужчины бились на палубе, а женщины в каюте. На палубе есть четыре скамейки. 15 человек сидели, остальные, за недостатком места, стояли, да и тех просили сторониться рабочие, проходящие от носа к корме и обратно». Ночью вся эта публика вповалку спала на полу палубы, стараясь, защититься от искр, вылетающих в изобилии из трубы. При этом надо добавить, что провизией пассажирам надлежало запастись в Перми, так как на пристанях ничего достать нельзя было.

Не многим лучше обставлялось путешествие до Нижнего. Это плохо обслуживалось о-вом «Кавказ и Меркурий», пароходы которого и лучше «Искры», но с современной точки зрения были лишены не только комфорта, но даже и минимальных удобств. «На корме под сеткой, — описывает Решетников, — хорошо было на середине, а по краям нужно опасаться за свою одежду. Хотя днем искр и не видать, но на корме воняет жженым ежеминутно. Горит кто-то! — кричат где-нибудь. — Кто горит? Оглядывают свою одежду: маленький уголек вертит или пальто или шинель, и на них образовалась уже не одна дыра. Ночью видно, как из трубы вылетают миллионы маленьких продолговатых искр; они, эти маленькие угольки, развеваемые ветром, сыплются в воду, на сетку и падают с боков на палубу. Упадет уголь на рогожу — горит рогожа, пал на одежду — горит одежда».

Палубный мир на этих пароходах разделялся на две части: кормовую и носовую. «Разница между ними, — объясняет Решетников, — только та, что на носу нет сетки, искры там не жгут, зато дует постоянно ветер и холоднее, чем на корме. Зато около этих пассажиров постоянно сидит аристократия 1-го и 2-го класса. На носу такие же квартиры, полужающееся сидение, сон ночью на полу под котами и рогожами, чай и еда в одно время с кормовыми. Пассажиры на носу не знают пассажиров на корме и наоборот. Как у кормовых, так и у носовых есть свои знакомые, своя скука, еще хуже, потому что на них постоянно смотрят аристократы. Кормовые смеются над носовыми: «ладно их там продувает — на самом на челу сидят». Со своей стороны и носовые смеются кормовым: «ладно их там жжет искрами!»



Обращение с пассажирами, особенно с рабочим людом, было самое бесцеремонное. Рабочим и бурлакам даже билеты не выдавались, и пароходный служащий пятнал их местом, ставя на спинах большие кресты. «Для чего вы это делаете? — спросил Решетников. — А что-б не убежали. Теперь с них деньги я взял, а так как мы билетов им не даем, то на пристанях и будем отличать меченых от немеченых».

Рабочие уже смирились с таким пятнанием, и оно им даже нравилось. Автор подхватил такой диалог:

— Лекша!

— Э!

— Пятнали те?

— Чаго?

— Пятнали, бают те, спину? Поди подставь ее.

И непятнаый бежит скорей запятнаться.

Рабочих обыкновенно скучивали в определенном пространстве и не позволяли переходить с места на место.

Второй и третий класс, конечно, представляли более удобств, но скука и сонная одурь, при отсутствии каких бы то ни было разумных развлечений, при отсутствии книг и газет, делала поездку на пароходах того времени мало привлекательной, дорогой (второй класс до Нижнего 22 р.), а потому пермяки пускались в путешествие только в силу крайней необходимости.

## II. Быт низов Пермского общества

Как же проходила жизнь в Перми эпохи отцов и дедов наших, тяготились ли они бессодержательностью и убожеством своей жизни или же смирились с ней и не желали ничего лучшего. Произведения Решетникова и на эти вопросы дают обстоятельные ответы.

«В Перми все довольны своей жизнью, — пишет он в очерке «На палубе», — а что скучно — говорят редкие здешние люди».

А вот фон, на котором обывательская жизнь пермяков вырисовывала свои несложные узоры: «у ореховцев (т. е. пермяков), — свидетельствует автор в том же очерке, — существуют две страсти: у мужчин водка, у женщин — мелкие кедровые орехи, а так как мужчины и женщины друг с другом связаны узами брака или любовными делами, то трезвые мужчины забавляются, между прочим, орешками, а женщины, глядя на пьяных мужей, напиваются и сами. Проще: орехи и водка главные развлечения; ни гости, ни гулянье, ни чаепитие за рекой без этих двух угощений не обходятся».

При отсутствии каких бы то ни было духовных интересов,



при отсутствии промышленности, жизнь низов пермского общества представляла из себя картину поистине безотрадную и беспросветную.

Горечь жизни давала чувствовать себя с раннего детства. Дети мещан и **мелких служащих** росли без всякого призора, и ежедневная порка была уделом почти каждого вступающего в жизнь пермяка. Побой, грубая ругань, голодовки — неизменные спутники подрастающего поколения. Школа того времени вносила новые трагические черты в эту невеселую жизнь. «Об умственном развитии, — говорит Решетников в своем автобиографическом произведении «Между людьми», — учителя не заботились, а учили нас в зубрежку и ничего не объясняли. Учителя считали за наслаждение драть нас. Здесь, бегали от классов по крайней мере две трети учеников. Это были дети самых бедных родителей — мещан и чиновников».

Замечательно, что с нежных детских лет у пермяков развивался какой-то инстинктивный сословный антагонизм, который в зрелые годы укреплялся сильнее и реализовывался в злобном отношении к привилегированным классам. Пермяк не мог бы высказать словами своих чувств, но ненависть, именно инстинктивная ненависть, крепко гнездилась в его душе. Быть может, тут главную роль играло сравнение своей беспросветной и безрадостной жизни с бросающимся в глаза довольством правящих классов. «Я наблюдал, — говорит Решетников, — что когда шел губернатор или какой-нибудь председатель, — народ сторонился и этот же народ не одобрял их; я видел также, что все эти важные люди ездили в каретах, приказывали брать в часть, пьяных, распекали на улицах бедных людей; я видел, что эти люди важничали, гордо говорили с людьми ниже их положением, как обегали их те, которые небогато одеты. Я и товарищи мои по училищу всячески старались передразнивать их; кроме этого, товарищи рассказывали при них разные анекдоты».

Но активно проявлять свою антипатию взрослым, конечно, дети демократических слоев не решались и отводили свою инстинктивную ненависть на своих сверстниках-воспитанниках более привилегированных учебных заведений. «Мы, — даю опять слово автору, — ненавидели гимназистов по-своему, те ненавидели нас потому, что мы были всегда сильнее их. Они нас называли бездомниками и разными неприличными именами, мы тоже дразнили их, и между нами шла непримиримая вражда, и часто мы сильно били своих врагов». Беда была господскому ребенку попасться на глаза юному демократу. «Нападет, например, барич, — вспоминает Решетников,



— я ему язык высуну. Он обидится, — я толкну его, шапку сорву и убегу. Конечно, это делалось один на один, или толпа нашего брата нападала на толпу баричей и тогда завязывалась драка, за которую нас жестоко пороли»...

Вообще, порка признавалась главным воспитательным фактором, к которому прибегали не только учителя, но и родители пермяков. Жестоко пороли ребят за каждую ничтожную вину в школе, но и дома не давали им спуска. Родители, погруженные в свою каторжную работу, требовали, чтобы дети сидели смирно, не мешали взрослым и не рвали на себе одежды. Погруженные в тьму невежества, родители со злобой встречали в ребенке всякое проявление любознательности. Заинтересует, например, ребенка такое явление, как гроза, начнет он допытываться, откуда гром, что такое молния и получает в ответ сердитый крик: «Молчи, щенок, — не твое это дело!» На дальнейшие расспросы в ответ получает подзатыльники. «Как теперь помню, — говорит Решетников, — вся забота наших родных состояла в том, чтобы мы во всем слушались их, пересказывали все, что говорилось другими про них, не знали с теми, кого они не любили, меньше ели. При этом они говорили, что хотят из нас сделать подобие себе и указывали на какого-нибудь служащего молодого человека: «Посмотри-ка, какой человек-то стал! А ведь как били-то его бедного... Зато выучили!»...

При такой домашней обстановке дети старались развлекаться вне дома, но пермская действительность не давала тогда здоровых развлечений, и дети сталкивались лишь с мрачными отрицательными сторонами жизни. Одним из таких детских развлечений являлись публичные казни, производившиеся по субботам. Вот как описывает Решетников это зрелище: «Лишь только услышим мы барабанный бой — кричим: «грешника везут!» и бежим на улицу. Из всех ворот выходили мужчины, женщины и дети, — каждому хотелось взглянуть на грешника. Невольно и я побегу посмотреть. «Смотри не долго! Я бы сходила, да некогда», — говорит мне тетка. А в толпе говор:

— Экое, подумаешь, наказанье! Подумаешь ты: ведь больно ему, бедному.

— Поди кается, голубчик!

— Ах, Машка, я и забыла грошик-то взять!.. Как я пойду с пустыми руками: ведь неловко, как не бросишь на шафот-то.

— Ну, я за тебя брошу.

— Говорят, что это палач себе берет.

— Ну, Бог с ним! Ты лучше нищему не подай.



— Ай, дяденька! За что его ведут-то?

— За воровство.

— Ишь ты. Вот, Анкудиниху так-то пробрать.

— Что Анкудиниху! Вон Тарасов что делает»...

Можно себе представить, как отражались на детской душе подобные сцены, как ожесточали они характер, заглушая — то доброе, что вкладывается в каждого из нас великой матерью природой.

Но вот кошмарное детство бедного пермяка кончалось. Бессмысленное зубрение, жестокие порки, ненависть к учителям-наставникам, — оставались там, позади, проводя неизгладимый след в ожесточившейся и озлобленной душе юноши. С такой подготовкой он вступал в жизнь.

«Счастливая, невозвратная пора детства!» Какой иронией звучат эти слова великого писателя земли русской в отношении людей, переживших детство, обвеянное, вместо любви и теплого участия, бессмысленной злобой, бедностью и убогостью среды...

На что же мне рассчитывать, сыну мещанина или мелкого служащего в Перми? Людям бедным, по словам Решетникова, очень трудно поступать на коронную службу. Везде требовалась взятка при поступлении, требовалась открыто и грубо. Самые бедные искали места в учреждениях вроде почтовой конторы. Кажется, на что незавидна была должность почтальона, но и за нее брали деньги. При этом надо добавить, что почтальон в те времена считался наравне с рядовым и обязывался служить двадцать лет! И люди добровольно лезли в эту каторгу, да еще платили деньги! Уже это одно свидетельствует о полной безвыходности положения низов пермского населения. Решетников сам хорошо ознакомился с почтовым бытом и во многих своих произведениях раскрыл нам весь ужас этой службы. Быт мелких служащих, конечно, был одинаков во всех учреждениях и, знакомя с почтовым миром, автор, в сущности, знакомил нас вообще с правом низов пермского населения. Последуем же за нашим бытописателем и взглянем, хоть мельком, на житье-бытье низших служащих.

Вот первые впечатления молодого Макси в рассказе того же имени. «Максю удивила обстановка почтовой жизни. Пьянство женщин, ругань их, драки между собой и свободное обращение интересных особ с мужчинами вскружили его голову.

— А, новичок, здравствуй! — сказала ему одна молодая девица, когда он вошел к семейному почтальону.

— Как зовут? — спросила другая.



— Нашего поля ягода, — сказал один почтальон.

— Кутейник! — прибавила третья женщина, хлопнув его рукой по плечу.

— Ну, обстригем.

— А когда спрыски будут? Позовешь? — приставала вторая женщина и закурила папироску с корешками русского табаку.

— Позову.

— То-то. Мы тебе песенку споем, такую залихватскую!...

— Куды тебе! Ты ее, Максим Иванович, не слушай, она всех молодых скружила, да надула.

— Слушай ты ее, дуру набитую!

— Ты хороша, модница... Уж не хвасталась бы.., Зачем с Патрушевым таскаешься?

— Молчи, харя! — и женщина плюнула в лицо обижавшей ее.

— Ну-ну! Смирно, вшивая команда! — закричал им один почтальон и прибавил Максе: ты не больно слушай их, что они пасти-то разинули. Ишь, как ревут во все горло!

Молодому новичку в первый же день его вступления в должность привелось познакомиться и с другой бытовой чертой. Приехал пьяный почтальон, потерявший дорогой пистолет и саблю. Старший осыпал его площадной руганью и приказал отрезвить в бане двадцатью ударами розг. Максе же пришлось исполнить роль палача.

Его удивило, что почмейстер пришел разделявать почту в халате и раскричался на одного почтальона.

— Ты пьян, мошенник!

— Никак нет-с, ваше в-не!

— Старшой, он пьян?

— Точно так-с!

— Дать ему завтра двести горячих.

Почтальон был действительно трезвый и повалился в ноги почмейстеру, но почмейстер прогнал его, не отменив наказания».

Битье низших служащих и битье самое зверское составляло обычное явление, и никого не возмущало.

— А меня, брат, просто измучили, — жаловался отец Решетникова, служивший почтальоном, — так избивали, я даже плохо слышать стал. Ах, как меня избивали! Ты не поверишь, что этот почмейстер каждый день топтал меня ногами, бил меня в грудь...

Но вот, в свое время служащий обзаводился семьей. Быть может, тут обретал он, измученный детством, истерзанный



службой, желанный отдых и покой? Может быть, тихий семейный очаг хоть отчасти компенсировал тяжесть его служебного положения?

Мы уже видели выше, какие нравы царили в женском обществе этой среды, куда не проникал ни один луч света и культуры. Семейная жизнь с такой подругой становилась настоящим адом. «Женатые почталтоны, сортировщики, служащие в суде. — свидетельствует Решетников, — били своих жен, когда захочется и били уже не так, как мы, бывши ребятами, дрались, а по-настоящему. Мужчине все казалось, что жена ему попалась не настоящая, какая следует. Начинает он ругаться с нею, — ничего не помогает, жена отругивается, в слезы пускается. Он злится, она капризничает. На службе его обижают, дома покоя нет от жены и ребят. «Да пропади она пропадом эта жизнь проклятая!», — восклицает несчастный труженик и топит свое горе в водке».

Самая обстановка семейной жизни была невыносима. Почтовые жили в общей квартире, и с утра начинались сцены у печи, где несколько хозяек готовили обеды. «Сдвинет, например, Семениха, — читаем мы в повести «Между людьми», — горшок Иванихи, Иваниха толкает горшок Семенихи, третья лезет пирожки жарить.

— Ты — куда?

— А ты куда?

— И подождешь!

— Плевать мне на твои горшки!

— Подожди, тебе говорят!

— Экая фря! Откуда ты, сволочь, выплыла?

— Тьфу ты, проклятая!

И пойдет цапотня. Придут мужья.

— Ну-ну! Смирно!

— Не твое дело!

— Я вот те покажу — не твое дело!

— Молчи, ты знай свое дело в конторе, а мне не мешай!

— А ну вас, гадин, к лешему!

Все такие сцены, конечно, происходили на глазах подрастающего поколения.

Немного отрады приносили с собой и редкие праздничные дни, как, например, Новый год, когда почтовые служащие получали наградные от клиентов. Для людей, лишенных какого бы то ни было культурного влияния, праздничными развлечениями являлись только водка и карты. Вот как рисует Решетников такой праздник.



В холостой половине почтальонов идет картежная игра, конечно, с возлияниями. Разговоры вертятся около наградных, ругают все и всех, вспоминают полученные обиды и шлют проклятия. Но иногда разговор переходит и на более отвлеченные темы.

— А как, братцы, по вашему, — интересуется один из наиболее трезвых — по вашему, кто честнее: полицейские, судейские или мы?

— Мы, брат, честнее, потому нам за дело дают, мы иной раз ночи не спим, да и отправить письмо штука: бросить письмо легко, а там жди.

Но этой мирной философской беседе не суждено развиваться: в стену с семейной половины раздался стук палкой и неистовый женский голос.

— Ребятунки! Уймите вы лешего, убьет!

Один из спавших на лавке почтальонов пробудился: «Ишь как дерутся! Еще в баню захотелось».

В холостую вбежала женщина; волосы растрепаны, платье изорвано.

— Что я с ним, варнаком, стану делать! Купил к празднику четверть и ту разбил... Ах, беда какая!.,

— Ну так что?

— Что, черт!

Женщина, плюнув, убежала. Ее освистали и выругали.

А на другой семейной квартире старший сортировщик, прокрутивший свои наградные деньги, является домой.

— Что, опять проигрался? — встречает его супруга.

— Молчи, убью!

— Куда ты часы девал?

— Тебе сказано или нет?

— Каплюшник ты эдакий! Пьяница!

Сортировщик ударил свою жену, завязалась драка. Муж выгнал супругу в одной рубашке из дому и запер двери на крючок. Несчастливая женщина, избитая, с синяками под глазами забежала к соседке. Та, при виде истерзанной женщины, захохотала.

— С Новым годом! Какие вам супруг фонари сделал! Прелесть!

— Бестыдница, вы этакая!

— А вы, пьяница!

— Мерзавка!

— Вон отсюда!



На другой день все товарки поздравляли избитую женщину с обновкой. Дома она от мужа получила еще несколько зуботрещин, сама искусала мужу плечо, за что он отодрал ее веревкой и написал ей билет, что она может идти куда угодно. Несчастливая присмирела, никуда не шла и молчала два дня, за что муж раза по два в день кормил ее зуботрещинами. На третий день оба супруга стали говорить, помирились руганью, и для них началась снова такая же жизнь.

Вот краски, в каких Решетников изображает быт низов Пермского общества его времени.

Мрачная картина! Детство без любви, среди домашних и школьных побоев, бессмысленная зубрежка в школе, ругательства и драки, созерцание торговых казней, полное отсутствие здоровых впечатлений, — вот подготовка, с какой пермяк из этой среды вступал в жизнь. А дальше? Грубость служебных прав, цинизм женщин этого круга, зверские побои начальства и, как венце всего — семейное счастье, вроде нарисованного выше... И разве можно удивляться, что от всей этой жизненной каторги человек совершенно спивался в кругу, как спился несчастный Макси, или отец Решетникова?...

### III. Низы чиновничьего мира; нравы духовенства

Картина не менее мрачных тонов вырисовывается перед нами при знакомстве с бытом чиновничьих низов того времени. Здесь мы видим такое же безрадостное детство, ту же забитость, те же материальные лишения, грубость прав и отсутствие всяких духовных запросов.

Мелкие канцелярские чиновники запуганы начальством до потери всякого человеческого достоинства и видом своим производят самое удручающее впечатление. Вот, например, как описывает встречу с этими париями чиновничьего мира Решетников, возвратившийся в Пермь после долгой отлучки: «Стали мне попадаться чиновники. Идут они, позевывая, на службу, идут как-то нехотя. На желтых лицах ни одной улыбки не заметишь; но заметно в них только какое-то чиновничье достоинство, уважение к самим себе; на фуражке кокарда, поступь чиновничья, и сморкаются по-чиновничьи. Смешно видеть этих забитых людей в то время, когда они идут мимо начальнического дома: видно, что им не хочется идти мимо окон: трепет какой-то вдруг напал, и зло берет. Один своротил с тротуара, прошел сколо стены, — хорошо, что окна высоки, можно согнуться; другой идет по тротуарам, смиренно глядит в окно и держит правую руку



наготове; третий идет за ним следом в таком же настроении; второй прошел благополучно, а третьему не посчастливилось: прошел мимо одного окна, мимо другого, заглянул в третье... и вмиг снял фуражку, пошатнулся и оступился в тротуарных дыру... Шла мимо его какая-то торговка с молоком, это ее рассмешило: эх ты, голубчик, угораздило! Поди-кось, ушибся, — не проспался, голубчик!».

Посмотрим теперь этих чиновников в обстановке их службы. Вот на выдержку картина судейской канцелярии, куда попал на службу наш бытописатель.

«За столом в большой, но грязной комнате сидели писцы. Многие из них писали очень скоро, перья сильно скрипели, многие шептались, немногие перекрикивались. Вон встал один, сидевший на конце стола, взял в губы перо и чуть не бегом прошел к шкафу, оттуда вытащил какое-то дело, посмотрел на него и опять бросил в шкаф. К нему подошел высокий служащий и ударил по верхушке его головы рукой, предварительно плюнув на ладонь; какой-то служащий, смотревший на это, захихикал, а получивший любезность схватил за волосы обидчика и таким манером притянул его к полу; тот вскрикнул: «отпусти, черт!». Вон, какой-то служащий среди тишины сказал на всю канцелярию: «Пичужкин, дай табак»... На это ему ответили сальностью... Вон, из другой комнаты выбежал в шапке и в пальто долговязый служащий; его остановил сидевший в углу: «куда?» — «Хапать!» — сказал служащий в сером сюртуке, продолжая писать... Вон провели арестантов, подвели их к какому-то столоначальнику; тот с одного просит за что-то деньги... У дверей в прихожую какой-то служащий с листом гербовой бумаги берет от женщины, бедно одетой, медные деньги.

— Ишь, собаки! Много ли дела? — спрашивает товарищ у этого служащего.

— Молчи, корявая рожа! — отвечал тот, считая деньги.

— Будь ты проклят, пес! — сказала рожа.

Считающий выручку подскочил к нему и ударил его по голове линейкой, он плюнул на ударившего и попал как раз в левую щеку. К нему подошли еще трое служащих и, трепля его, приговаривали: «формочка, формочка! усь, усь!» Он злился, плевался, ругался, отмахивался линейкой.

До прихода секретаря служащие ничего не делали, а рассказывали разные истории, сообщали друг другу разные сведения, бранились и корили друг друга чем-нибудь, не обижаясь ругательствами. Приходит секретарь, ему кланялись,



не вставая со стульев и табуреток, разбегались по своим местам и начинали писать. Секретарь здоровался за руку с надсмотрщиком, на служащих он глядел гордо, вообще держал себя по-секретарски и говорил всем: «на, перепиши! Дай мне такое-то дело!» Заседателям отдавали такую же честь, как и секретарю, и они тоже здоровались только с надсмотрщиком. При них служащие уже крепко занимались, но держали себя по-прежнему вольно. Судья приходил в суд тихо, но как только служащие завидят его в прихожей, столпившиеся разбегутся на свои места, схватывают перья и делают вид, что они пишут, или показывают, что они чинят перья. Незанятые ничем служащие тоже держат в руках что-нибудь: или том свода, или какую-нибудь бумагу. В это время все затихает. Показался в канцелярии судья — загремели стулья враз, враз все встали, каждый пошевелит губами! «Здравствуйте, мол». Судья важно кланяется два раза на обе стороны и молча проходит в присутствие. Случалось, что судья заставлял канцелярию врасплох; тут служащие терялись: стоявшие не смели идти на свои места, говорившие на своих местах точно приседали еще ниже. Выходило очень смешно. Когда в присутствии начинался говор, оживлялась и канцелярия, начинался гвалт, крик, драка. Выходит секретарь из присутствия и говорит грозно: «тише, вы!». Канцелярия смолкнет, потом опять слышны хихикания и гвалт. «Смирно, вы, сволочь!» — кричит секретарь... Так и проходило время в суде. Каждый служащий должен был непременно прийти на службу вечером, несмотря ни на какую погоду и расстояние. Вечером делом почти не занимались, потому что начальство само редко жаловало. Время наплнялось рассказами о своей удали, хвастались, как разбили стелла в каком-то открытом доме и как надули такую-то девицу за доставленное такому-то судейскому ловеласу удовольствие».

Кадры мелких чиновников наполнялись обыкновенно детьми таких же чиновников и составлялась как бы особая каста. На службу поступали, даже не окончив курса уездного училища, кое-как выучившись писать. Первое время новичок служил без жалования и занимался только перепискою. «Через два месяца ему дают жалование, и в это время, постоянно находясь в обществе служащих, понемногу усваивает себе их приемы и манеры. До этого времени он развивался в своем доме и в кругу своих товарищей и, конечно, развивался плохо; теперь он развивается под влиянием приказной братии. От них он ничего не может услышать хорошего или



нового; ума его они никак не разовьют обыкновенными и пустыми разговорами. Ему дают жалование три или шесть рублей; он старается заниматься прилежнее, усидчивее для того, чтобы ему прибавили жалования. Он пишет целый день строчку за строчкой, выводя как можно красивее буквы, и все его внимание сосредоточено в этих буквах, да в слухе, который наполняется словами служащих. Он не видит полезной дельной мысли в работе, после нее чувствует усталость, ест, мало говорит и все свободное время проводит во сне, или в карточной игре. Чем больше и больше он переписывает, тем более у него отпадает охота к мышлению; он уже переписывает бессознательно, делает ошибки, скоблит бумагу — и еще более тупеет. В это время он рад, если ему придется быть в кругу своих товарищей для того, чтобы отвести душу, т. е. выпить водки. Это желание до того усиливается, что он уже чувствует потребность пить водку, и под конец становится пьяницей, мучителем своей семьи».

Свой скудный бюджет канцеляристы должны были волею-неволею пополнять чем-либо посторонним и изыскивать способы существования. И на какие только хитрости не пускались бедняки! Взятничество, конечно, процветало вовсю. Но в отношении мелкого люда взятки не могла быть крупных размеров и канцеляристы срывали с клиентов двугривенными и четвертаками. В ходу было устройство лотерей, причем разыгрывалась какая-нибудь дрянь, и подписавшиеся должны были являться на квартиру хозяина часто со своей водкой и закуской. Одна из таких лотерей подробно описана Решетниковым в рассказе того же названия. Сцены этого рассказа живо рисуют нравы чиновничьих низов, всю тупость, пошлость и темноту среды. Ни одного светлого луча не проникало сюда, и канцеляристы по своему умственному развитию недалеко ушли от мелких служащих, а потому знакомство с бытом и нравами последних дает нам полное представление о нравах низшей чиновничьей среды старой Перми.

Не лучше были и нравы духовенства того времени. Описанию духовного быта Решетниковым посвящены два больших произведения: «Ставленник» и «Никола Знаменский». Мы здесь не коснемся эпической личности попа «Миколы», который мог существовать только в глуши, среди инородцев, но воспроизведем несколько сцен из «Ставленника», рисующих нам нравы духовенства и взгляды на него в самой Перми.

Перед нами консистория. В ее коридоре шум невообразимый. Набилось человек двадцать духовных особ разного ранга — от протопопа до псалмопевца включительно. В канцелярию еще не пускают. Сторож в военной форме важно сидит



на диване и, поглядывая то на того, то на другого, ухмыляется.

А братия ведет разговоры о доходных местах, о том, что народ ныне развратился и плохо оплачивает труд духовных. Попы ведут себя более степенно, дьякона и дьячки кричат.

— Нука, отец дьякон, дай-ко табачку понюхать!

— Маловато.

— Ну, ну, нечего отнекиваться-то! У тебя, я знаю, хорошее, ведь, место.

— Вот за это слово я тебе и не дам. Шиш получишь! — и дьякон отходит прочь.

— Да что это, Господи помилуй, как долго? — говорят человек шесть.

— Эй, сторож,пусти! — просит сторожа священник.

— Пущать не велено.

— Как не велено?

— Не велено, и все тут.

Протопопы ушли в канцелярию. За ними пошли и священники. Сторож вмиг подбежал к дверям и стал посреди их.

— Отчего ты не пускаешь?

— Не велено.

— Почему?

— Говорят, много всяких шляется. Отцом Антоном не приказано. Вон тут надпись была приклеена, да из вашей братии кто-то оборвал.

— Ты нам кого-нибудь пошли оттуда.

— Кого я пошлю! Вон столоначальник-то Гаврилов трое суток без просыпа пьет и дома, что есть, не живет, ищи его — с семьёю собаками не отыщешь.

Дальше мы узнаем, что сторож в консистории важное лицо, а простые писцы — те прямо недоступны. Сторожу требуется взятка в 20 к., а к писцу, чтобы выведать что-нибудь, без полтины и не подходи.

На этот раз в коридор вышел писец. Все обступили его. Один из духовных спрашивает о чем-то. Писец без взятки не желает ему отвечать. Это возмутило одного из дьяконов, страдающего, видимо, муками похмелья. В нечесаной бороде этого отца присохла яичная скорлупа и другие остатки от вчерашней трапезы. Угар не прошел, и он храбро указывает писцу, что тот должен дать справку.

— Не ваше дело! — обрезаывает писец.

— А владыку знаешь? — вызывающе вскрикивает ряса.

— Сторож, выгони этого пьяного! — закричал писец и ушел в канцелярию.



Дьякона, при общем хохоте и содействии, вытолкали в шею.

А меньшая братия тут же развлекается по своему. Вон один дьячок схватил за нос пономаря; пономарь вскричал и в свою очередь ударил дьячка под микитки, что вызвало всеобщий смех. В другом углу подрясниковый уснул на диване.

— Братцы, смотрите!

— Ах, он пес!

Снова все хохочут.

— Наденьте на него бумажный колпак.

Один разудалый дьячок стащил со спящего сапоги...

Уже эти взятые без выбора сцены с достаточной ясностью рисуют тот класс, на обязанности которого в старой Перми лежала высокая и святая задача попечения о народной нравственности и духовных сторонах народной жизни...

#### IV. Губернский Олимп

Итак, картина быта и нравов низов и даже духовенства старой Перми получается довольно безотрадная. Быть может, духовные запросы сосредоточивались в верхах пермского общества, в среде тех правящих и привилегированных классов, которые в произведениях Решетникова объединяются словом «аристократия»? Ведь эта аристократия, — будем придерживаться терминологии нашего бытописателя, являлась элементом, руководящим и направляющим жизнь и в распоряжении ее имелись и средства и возможность культурного воздействия на население и на лиц подчиненных, участь которых всецело была в ее руках.

Бросим беглый взгляд на этот дирижирующий класс.

На верху губернского Олимпа стоял, как водится, губернатор. Он, — свидетельствует Решетников, — не любил молодых людей, трусил их почему-то и даже хотел закрыть единственную в то время библиотеку, которая кое-как составила среди служащих казенной палаты. Но существование этой жалкой библиотеки удалось отстоять председателю палаты. Заметим здесь, кстати, что библиотека эта для палатских чиновников служила курительной комнатой и чиновники уже поговаривали, что не худо было бы здесь завести и буфет с водкой. Таким образом, опасного на умы влияния от библиотеки, состоящей к тому же из разрозненных журналов и дрянных книжек, не предвиделось. Но, видимо, в понятии губернатора самое собрание книг ассоциировалось с чем-то враждебным и преступным.



Председатель казенной палаты считался человеком по тому времени передовым и просвещенным. Столь лестную репутацию он заслужил, во-первых, потому, что содействовал учреждению при палате библиотеки, а главным образом из-за своей страсти к проектам. С советниками палаты он был на ножах, так как считал их глупее себя. Но председатель не пользовался расположением служащих, и вот как рисует Решетников этого видного представителя власти: «его не любили за то, что он мучил хороших переписчиков, ругал писцов, столоначальников и сторожей, и вообще со всеми, даже с секретарем, обращался: «эй, ты!». Но при всем этом он хотел сделать служащим много полезного, только это полезное выходило у него в грубой форме. Сидит он в своем кабинете и вдруг призывает секретаря: «эй ты, как тебя? Ну, напиши мне проект... такого рода, как бы тебе сказать?... Ну, одним словом, я хочу устроить, чтобы чиновники сшили себе платье дешевле... Да живо, понял?». Скажет секретарь: «понял», и выйдет растерявшись. Сядет он на свое место и начнет думать. Члены пристают к нему с разными посторонними вопросами, а он боится позабыть, что ему говорил председатель. Члены посмеиваются.

— Что, каково?

— Ах, отстаньте!

— Что он опять?

— Да вот какую-то чепуху выдумал: платье шить хочет.

Члены хохочут.

— Кому?

— Черт его знает кому... Ничего не понять.

Пойдет несчастный секретарь в архив — нет ли там каких-либо подходящих дел. Архивариус ничего не знает и говорит: «бери хоть все дела, черт с ними, а я почем знаю, какие такие у меня дела, и где какое лежит»... Начинает секретарь рыться в законах и ничего не находит. А таких проектов председатель много заказывал, и одни из них или забывались председателем, либо сочинялись с общей помощью через год».

Таков был тип прогрессиста. А вот олимпиец старого закала, который уже никаких проектов сочинять не будет — это судья. Человек он важный и, как сообщает автор, родня правителю канцелярии губернаторской, нигде не кончившей курса. Приходил он на службу в первом часу и выходил в три. По приходе начинал разговаривать с заседателями о карточной игре целый час, потом начинал распечатывать пакеты. Он читал только предписания и указы начальства и на всех бумагах писал число и месяц. Это продолжалось тоже



час. Остальное время он употреблял на подписание журналов, бумаг и протоколов' относительно числа розог и плетей. Обыкновенно секретарь на полях помечал: от 30 до 40 розг, или от трех до шести месяцев, а судья писал: «тридцатью пятью ударами», «на четыре месяца». Доклады он не читал, а спрашивал секретаря:

— О чем это доклад?

Тот объяснял.

— Ну, как по вашему?

— Да, надо в Сибирь сослать.

— Экие каналы! Не живетcя им на одном месте. Валяйте в Сибирь, а там плата разберет.

До положения служащих судья не касался и считал их за чернорабочих людей. Он только определял и увольнял их и знал одних столоначальников.

Недурен в своем роде был и губернский казначей. Вот маленькая сценка, обрисовывающая его во всем великолпии: «Мне посоветовали,—сообщает Решетников,—попросить место в казначействе. Являюсь. Губернский казначей встретил меня окриком:

— Что тебе надо?

Я подал ему докладную записку. Он прочитал.

— Вакансий нет, убирайся! Только мешаете чаю напиться.

— Я вам заплачу.

— Ну?

— Сколько прикажете?

— Двадцать пять рублей, только позаниматься с неделю на испытании.

— Я не могу теперь дать, потому что у меня всего три рубля.

Губернский казначей повернулся и вскричал:

— Гаврило, проводи вот этого!»

Я полагаю, что достаточно уже приведенных выдержек для составления полного понятия о нравах губернского Олимпа. Полагаю также, что нечего распространяться о культурном воздействии подобных субъектов. Картины, нарисованные нашим бытописателем, говорят красноречивее рассуждений и делают излишними всякие комментарии.

Но неужели же до Перми времен Решетникова не дошли отзвуки той эпохи великих реформ, которые переживали тогда не только центры России, но и ее периферии? Неужели же прогресс, так широко нахлынувший на нашу родину, не дошел до спящей Перми? Ведь не могла же она, как бы



ни была отстала, остаться безучастной, если и не к умственному пробуждению, то хоть к тем великим преобразованиям, которые, помимо желания и воли пермяков, все же врывались в их жизнь и в корне изменяли ее!

О, да — и реформы, и прогресс, конечно, докатились в свою очередь и до Перми, но здесь, преломляясь в сфере ее бытовых условий, они приняли уродливые и карикатурные формы, и поэтому новые веяния Решетников везде характеризует словом «прогресс», употребляя этот термин в ироническом смысле.

Первое впечатление, вызванное реформами, было впечатление испуга. Представители дореформенных учреждений, десятилетиями сроднившиеся с установленным порядком вещей, испугались, растерялись. Они просто не могли усвоить мысли, что могут быть поколеблены те устои, на которых, по их понятию, зиждилось благополучие всей русской жизни. Вот, например, беседы чиновников по поводу слухов о реформе суда. Старозаветный судья выходит из себя и доказывает всю нелепость такого преобразования. «Это все прогрессисты баламутят народ! — в бессильной злобе кричит он, — они не понимают, с каким народом приходится иметь дело. Поверьте, гласный суд — только фраза. Правила выпущены прогрессистами для развращения молодежи. Я беседовал с правителем губернаторской канцелярии, он говорит, что гласного суда не будет; это, просто, хотели испугать». Почмейстер язвительно оппонирует ему и сообщает, что получил из Питербурга от сына известие, что гласный суд будет. Судья свирепствует еще пуще: «Врет ваш сын! В сумасшедший дом его надо вместе со всеми прогрессистами».

Низшие судейские чиновники реагировали на слух о реформе суда еще более яростно.

— Скажи ты мне, — вопрошал автора мелкий судейский, — что это за штука гласный суд? По-славянски глас значит глагол, да как же применить этот глагол к нашему суду: суд глагол, что ли? А местоимение-то кто?

Этот глубокомысленный разговор происходит в саду за водкой.

— Гласное судопроизводство, — вмешался третий собеседник, — это значит, будут решать дела без перьев и бумаги.

— Ты не болтай, пустомеля! Это невозможно. Ну, как без бумаги? Да тогда будет большой подрыв бумажным фабрикам. Об этом-то ты подумал ли, лысая башка?



— Тогда всякий может приходить в суд даром и будет знать, за что судят человека.

— О, о! Так вот я и выдал канцелярскую тайну! Да если мне прибавят тогда больше жалования, я за тайну меньше тысячи не возьму — дудки!... Нет, гласного суда не будет!

— Почему?

— Я сказал — и баста! Не будет!.. Не посмеют.

— Да, ведь, воля вышла же.

— То воля, там мужичье; а то суд, где участь людскую решают. И покослевать такую твердыню невозможно.

— Возможно.

— Невозможно!

Судейский с яростью вскочил, схватил в руку бутылку и разогнал собеседников.

Но Пермь дала не одних только врагов прогресса, явились и горячие его защитники и апологеты. Таковых можно разделить на три группы. К первой относились истинные друзья реформ, люди честные, увлекающиеся, но наивные и смешные в своем увлечении. Таких было меньшинство. Вторая группа, самая многочисленная, состояла из людей, которые во все времена прикрепляются ко всякой новой идее, носятся с нею всюду, кричат, неистовствуют и, по обыкновению, так опошляют эту идею, так изгаживают, что от ее существа и помину не остается. Сделав свое дело, эти люди вновь присматриваются, принимают и подхватывают налету новую идею и с ней совершают тот же процесс опошления. Наконец, к третьей группе относились дельцы, практические люди, чутьем угадывающие будущее торжество новых веяний и под сенью прогресса великолепно обделывающие свои житейские делишки.

С новыми веяниями и со словом «прогресс» особенно носились дамы и даже основали кружок, который слыл под названием «ученой академии». Одна из таких дам уцепилась за Решетникова, когда он, уже получив литературное имя, явился в свой родной город.

— Ходите, пожалуйста, к нам, — тараторила она, — здесь все общество гладкое и страшные сплетники. Мы, прогрессисты, учеными предметами занимаемся. А вы где служите?

— То есть как служу? — удивился писатель.

— В каком журнале?

Решетников объяснил.

— Ах! Вы читали «Тысячу душ»?

— Читал.



— Превосходный роман, единственный в своем роде! Вы не знаете, где бы достать Беллинского? Все прогрессисты его читают, а у нас нету...

Увлечение естествознанием также не обошло дам из разряда «прогрессисток». Вот разговор на балу такой прогресистки с местным доктором:

— Вы прогрессист?

— Трижды прогрессист и люблю вас всей душой!

— А где душа?

— Душа есть.. отправление мозговой деятельности.

— Неправда! Я учнее вас: душа есть легкие и сидит... сидит в уголке легких.

Прогрессисты мужского пола вели свои ученые дебаты за выпивкой и зеленым столом. «От этой академии, — пишет Решетников, — я узнал такое правило: если человек не играет в карты, он, значит, бедный и в то же время опасный человек, если же он не пьет водки, то, значит, пренебрегает людьми. Тут же обсуждался вопрос о том, кто благороднее: мужик или образованный? И большинство голосов оставалось на том мнении, что образованный благороднее, а мужик тогда будет благородным, когда его назовут коллежским регистратором. Ученые споры постоянно заканчивались или ссорами, или упреками».

Во время увлечения прогрессом в Перми открылась общественная библиотека, получившая свое начало от библиотеки служащих казенной палаты, которую раньше хотел было уничтожить губернатор. Тут же статистическим комитетом был открыт минералогический и сельско-хозяйственный музей, т. е. собраны были кое-какие минералы и хлебные злаки. Музеем заведовал тот же библиотечкарь.

«Осмотрел я библиотеку, — сообщает Решетников, — старых, ни для кого ненужных книг в ней большинство. Приходит при мне маленький чиновник казенной палаты. Прочит новых журналов.

— Максим Максимович не велел давать, — ответили ему. Чиновник ушел. Пришел какой-то сторож с запиской. Я заглянул в билет — вижу советник палаты. Сторожу дали неразрезанную книгу. Я указал библиотечкарю на такую несправедливость.

— Чиновнику не за что давать книг, да он и не стоит, может подождать, а советник... — Он не договорил».

В таком виде отразился прогресс в старой Перми и не даром одно из действующих лиц в комедии Решетникова



«Прогресс в уездном городе», именно, Павлов, ловкий делец, сумевший присосаться к новым веяниям, восклицает: «О прогресс, прогресс! Как ты исковеркал нашу святую Русь. Все старое так и летит к черту. Теперь верх взяло молодое поколение. Но прогресс хорош только для нас, а вот худо, что за настоящими прогрессистами потянулись самоучки, приказные, мещане, за ними лакеи, а за лакеями мужики... Но, дудки! Мы укажем им настоящее место!».

И не удивительно, что при таком умственном уровне пермского общества в век реформ и прогресса в нашем городе происходят события, перед которыми бледнеют даже деяния глуповцев. В то время, когда культурная Россия жадно стремится к знанию, когда в столицах университетские аудитории, открытые для всех желающих, буквально не вмещают публику, когда литература достигает своего расцвета и когда на вопрос — созрели мы или нет — гордо дается положительный ответ, в это время умственного пробуждения нации наши пермяки по предписанию своего начальства ловят в Каме... черта!

И это не шутка, а истинное происшествие. Дело в том, что около Перми в реки появилась белуга, причинившая немало бед. Она рвала невода и громко кричала по утрам. Пермяки были уверены, что тут дело нечисто.

— Нарядить следствие, — горячились законники.

— Да кого искать-то? Рыбаки отказываются ловить рыбу... Без рыбы, пожалуй, насидимся.

Думало, думало об этом предмете начальство и окончательно спуталось: один посоветовал доложить губернатору, — его все называли аспидом за то, что сказать губернатору, значит выдать себя в непонимании законов и вообще своих обязанностей; другой посоветовал попросить владыку освятить реку, этого обругали на том основании, что без согласия губернатора владыко не согласится; третий почему-то говорил: надо посоветоваться с директором гимназии. На такого все поднялись: как? Вы директора гимназии ставите старше нас? Так и решили: предписать земскому суду произвести следствие. А земскому суду на руку: целую неделю следователи бражничали на берегу реки и наловили много рыбы. В протоколе следователей было сообщено, что по ночам они видели в реке что-то брыкающееся, похожее на ехилну, и что это чудовище частовременно приближается к берегу и, разевая пасть, жалобно визжит. На основании этого следователи предлагали учредить постоянную вооруженную стражу».



И вот в одно прекрасное утро представитель полицейской власти рапортует своему начальству:

— В реке черт-с!

Начальство выпучило глаза.

Вся история закончилась только после поимки белуги, которую пермяки раскупили у рыбаков и скушали до косточек.

## **V. Аналогии и выводы**

Хотя я не использовал и половины того богатого бытового материала, который дают нам произведения Решетникова, но полагаю, что достаточно и приведенного, чтобы восстановить картину жизни старой Перми. Составленная мною без особого выбора мозаика сцен воспроизводит быт захолустного губернского города, обойденного цивилизацией и культурой. И картина, нарисованная правдивым бытописателем этими отдельными сценами, быть может, иногда грубыми, но всегда точными, — получается до того кошмарной и дикой, что современник вправе воскликнуть: да неужели все это похоже на правду и неужели так жила Пермь отцов и дедов наших?

Да, все это правда, и такова была жизнь старой Перми и не погрешил здесь против истины наш бытописатель, ибо ложь была не свойственна его простой и честной натуре, а природа дала ему дар фотографа-наблюдателя, и точно зафиксировал он грубую правду жизни совсем ее убожеством, бедностью и дикостью...

И теперь, сравнивая прошедшее, отдаленное от нас лишь на одно, много на два поколения, не вправе ли мы воскликнуть словами Грибоедова: «Свежо предание, а верится с трудом!»

Контраст здесь необъятно велик. Как далеко шагнула жизнь даже в области общественного благоустройства, в области техники! Ведь, если бы жителям Перми рассматриваемой эпохи сообщить о тех условиях, в каких мы живем в настоящее время, сообщить об одетой в гранит набережной, по которой несутся поезда, в двое суток доставляющие пермяков до Петербурга, о плавучих отелях-пароходах со всем их благоустройством, величественно бороздящих воды красавицы Камы, об электрическом освещении города, благодаря чему ночь обращается в день, о чудных машинах, из металлической глотки которых раздается музыка и пение лучших артистов, о театрах, где на полотне появляются движущиеся фигуры и воспроизводятся свежие события всех стран мира, о библиотеках, музеях, школах, покрывших всю Пермь и сделавших знание доступным каждому, о летающем над Пермью человеке на хитрой машине, словом, если бы мы



стали уверять пермских современников Решетникова, что среди таких чудесных условий будут проживать их дети, то я думаю, пермяки или обругали бы нас, или же, в лучшем случае, с иронической улыбкой пожали плечами.

И уже, конечно, нарисованная картина настоящего показала бы нашим дедам и отцам куда фантастичнее утопий Уэллса...

А ведь все эти чудеса — совершивший факт и гений человека готовит в будущем, несомненно, еще большие чудеса.

Но не в этих технических завоеваниях преимущество новой Перми перед старой.

Мы видели, как низко котиновалась в старой Перми самая большая ценность нашей жизни — человеческое достоинство. Мы видели, как много было там униженных и оскорбленных, и как легко там высшие унижали и оскорбляли низших, и такой порядок вещей никого не возмущал, составляя бытовую черту.

Много темного и отрицательного в современном обществе, социальное зло у нас очень велико, но никто не будет отрицать, что нашим поколением приобретена и великая моральная ценность, во много раз превышающая все завоевания техники, и выражающаяся в словах — освобождение личности. Нельзя ныне безнаказанно попираить личность человека, на какой бы низкой ступени общественной лестницы он ни стоял. Нельзя третировать человека так, как третировали его в старой Перми. Нельзя потому, что в сознании общества выросло понятие о человеческом достоинстве, и унижить своего ближнего, значит унижить самого себя.

И если на одну чашу весов положить только это моральное завоевание нашего века, а на другую все отрицательные и темные стороны жизни, то, я верю, первая чаша все же перестанет вторую. Ибо нет ничего выше и святее добытой выстраданной нами истины, — что «человек — это звучит гордо!» И как ни тяжела, как ни кошмарна переживаемая нами общественная пауза, мы все же знаем и видим мерцающие в далекой дали огни... Жизнь то ускоряет свое поступательное движение, то замедляет его, но никогда не останавливается; она вечно эволюционирует, и как бы не казалась беспросветна и неподвижна нам современность, все же законы эволюции гласят, что завтрашний день будет великолепнее вчерашнего, а если это так, то несомненно и то, что Пермь детей наших будет также далека от нашей Перми, как наша Пермь далека от Перми отцов наших...















**Переиздано Пермской областной библиотекой им.  
М. Горького. Ответственный за выпуск зав. отделом  
краеведения Т. БЫСТРЫХ.**

**Пермь. 1991**

---

п. Ильинский, типография управления печати и массовой  
информации Пермского облисполкома.  
Заказ 1049. Тираж 1000.







